

Н. В. Гоголь

В ЧЕМ ЖЕ, НАКОНЕЦ, СУЩЕСТВО РУССКОЙ ПОЭЗИИ И В ЧЕМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЬ

Несмотря на внешние признаки подражания, в нашей поэзии есть очень много своего. Самородный ключ ее уже бил в груди народа тогда, как самое имя еще не было ни на чьих устах. Струи его пробиваются в наших песнях, в которых мало привязанности к жизни и ее предметам, но много привязанности к какому-то безграничному разгулу, к стремлению как бы унести куда-то вместе с звуками. Струи его пробиваются в пословицах наших, в которых видна необыкновенная полнота народного ума, умевшего сделать все своим орудием: иронию, насмешку, наглядность, меткость живописного соображенья, чтобы составить животрепещущее слово, которое пронимает насквозь природу русского человека, задирая за все ее живое. Струи его пробиваются, наконец, в самом слове церковных пастырей — слове простом, некрасноречивом, но замечательном по стремлению стать на высоту того святого бесстрастия, на которую определено взойти христианину, по стремлению направить человека не к увлечениям сердечным, но к высшей, умной трезвости духовной. Все это пророчило для нашей поэзии какое-то другим народам неведомое, своеобразное и самобытное развитие. Но не из сих трех источников, уже в нас пребывавших, ведет начало наша сладкозвучная поэзия, ныне нас улаждающая; так же, как и строение нынешнего нашего гражданского порядка произошло не из начал, уже пребывавших прежде в земле нашей. Гражданское строение наше произошло также не правильным, постепенным ходом событий, не медленно-рассудительным введением европейских обычаев, — которое было бы уже невозможно по той причине, что уже слишком вызрело европейское просвещение, слишком велик был наплыв его, чтобы не ворваться рано или поздно со всех сторон в Россию и не произвести без такого вождя, каков был Петр, гораздо большего разладу во всем, нежели какой действительно потом наступил, — гражданское строение наше произошло от потрясения, от того богатырского потрясения всего государства, которое произвел царь-преобразователь, когда воля Бога вложила ему мысль ввести молодой народ свой в круг европейских государств и вдруг познакомить его со всем, что ни добыла себе Европа долгими годами кровавых борений и страданий. Крутой поворот был нужен русскому народу, и европейское просвещение было огниво, которым следовало ударить по всей начинавшей дремать нашей массе. Огниво не сообщает огня кремню, но покамест им не ударишь, не издаст камень огня. Огонь излетел вдруг из народа. Огонь этот был восторг, восторг от пробужденья, восторг вначале безотчетный: никто еще не услышал, что он пробудился затем, чтобы с помощью европейского света рассмотреть поглубже самого себя, а не копировать Европу; все только услышало, что он пробудился.

Уже самый этот крутой поворот всего государства, произведенный одним человеком, — и притом самим царем, который великодушно отказался на время от царского звания своего, решился изведать сам всякое ремесло и с топором в руке стать передовым во всяком деле, дабы не произошло никаких беспорядков, следующих при малейшем изменении государственных форм, — был делом, достойным восторга. Переворот, который обыкновенно на несколько лет обливает кровью потрясенное государство, если производится бореньями внутренних партий, был произведен, в виду всей Европы, в таком порядке, как блистательный маневр хорошо выученного войска. Россия вдруг облеклась в государственное величие, заговорила громами и блеснула отблеском европейских наук. Все в молодом государстве пришло в восторг, издавши тот крик изумленья, который издает дикарь при виде навезенных блестящих сокровищ. Восторг этот отразился в нашей поэзии, или лучше — он создал ее. Вот почему поэзия с первого стихотворения, появившегося в печати, приняла у нас торжествующее выражение, стремясь высказать в одно и то же время восхищение от света, внесенного в Россию, изумление от великого поприща, ей предстоящего, и благодарность царям, того виновникам. С этих пор стремление к свету стало нашим элементом, шестым чувством русского человека, и оно-то дало ход нашей нынешней поэзии, внося новое, светоносное начало, которого не видно было ни в одном из тех трех источников ее, о которых упомянуто вначале.

Что такое Ломоносов, если рассмотреть его строго? Восторженный юноша, которого манит свет наук да поприще, ожидающее впереди. Случаем попал он в поэты: восторг от нашей новой победы заставил его набросать первую оду. Впопыхах занял он у соседей немцев размер и форму, какие у них на ту пору случались, не рассмотрев, приличны ли они русской речи. Нет и следов творчества в его риторически составленных одах, но восторг уже слышен в них повсюду, где ни прикоснется он к чему-нибудь, близкому науколюбивой его душе. <...> Ломоносов стоит впереди наших поэтов, как вступленье впереди книги. Его поэзия — начинающийся рассвет. Она у него, подобно вспыхивающей зарнице, освещает не все, но только некоторые строфы. Сама Россия является у него только в общих географических очертаниях. Он как бы заботится только о том, чтобы набросать один очерк громадного государства, наметить точками и линиями его границы, предоставив другим наложить краски; он сам как бы первоначальный, пророческий набросок того, что впереди.

<...> Мысль о сходстве Ломоносова с Державиным, приходящая в ум при первом взгляде на них обоих, исчезнет вдруг, как только всмотришься покрепче в Державина. Всем, даже самым воспитаньем, последний представляет совершенную противоположность первому. Как один весь предался наукам, считая стихотворство свое только развлечением и делом отдохновения, так другой предался весь своему стихотворству, считая многостороннее

образование науками лишним и ненужным. То же самодержавное, государственное величие России слышится и у него; но уже видны не одни только географические очерки государства: выступают люди и жизнь. Не отвлеченные науки, но наука жизни его занимает. Оды его обращаются уже к людям всех сословий и должностей, и слышно в них стремление начертать закон правильных действий человека во всем, даже в самых его наслаждениях. У него выступило уже творчество. У него есть что-то еще более исполинское и парящее, нежели у Ломоносова. Недоумевает ум решить, откуда взялся в нем этот гиперболический размах его речи. Остаток ли это нашего сказочного русского богатырства, которое в виде какого-то темного пророчества носится до сих пор над нашею землею, прообразуя что-то высшее, нас ожидающее, или же это навеялось на него отдаленным татарским его происхождением¹, степями, где бродят бедные останки орд, распалюющие свое воображение рассказами о богатырях в несколько верст вышиною, живущих по тысяче лет на свете, — что бы то ни было, но это свойство в Державине изумительно. <...>

В то время когда Жуковский стоял еще на первой поре своего поэтического развития, отрешая нашу поэзию от земли и существенности и унося ее в область бестелесных видений, другой поэт, Батюшков, как бы нарочно ему в отпор, стал прикреплять ее к земле и телу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Как тот терялся весь в неясном еще для него самого идеальном, так этот весь потонул в роскошной прелести видимого, которое так ясно слышал и так сильно чувствовал. Все прекрасное во всех образах, даже и незримых, он как бы силился превратить в осязательную негу наслаждения. Он слышал, выражаясь его же выраженьем, "стихов и мыслей сладострастье"². Кажется, как бы какая-то внутренняя сила равновесия, пребывающая в лоне поэзии нашей, храня ее от крайности какого бы то ни было увлечения, создала этого поэта именно затем, чтобы в то время, когда один станет приносить звуки северных певцов Европы, другой обвеял бы ее ароматическими звуками полудня, познакомивши с Ариостом, Тассом, Петраркой, Парни и нежными отголосками древней Эллады; чтобы даже и самый стих, начинавший принимать воздушную неопределенность, исполнился той почти скульптурной выпуклости, какая видна у древних, и той звучащей неги, какая слышна у южных поэтов новой Европы.

Два разнородные поэта внесли вдруг два разнородные начала в нашу поэзию; из двух начал вмиг образовалось третье: явился Пушкин. В нем середина. Ни отвлеченной идеальности первого, ни преизобилья сладострастной роскоши второго. Все уравновешено, сжато, сосредоточено, как в русском человеке, который немногослаголив на передачу ощущения, но хранит и совокупляет его долго в себе, так что от этого долговременного ношенья оно имеет уже силу взрыва, если выступит наружу. Приведу пример. Поэта поразили вид Казбека, одной из высочайших кавказских гор, на верхушке которой увидел он монастырь, показавшийся ему реющим в небесах ковчегом. У другого поэта

попились бы пылкие стихи на несколько страниц. У Пушкина все в десяти строках, и стихотворенье оканчивает он сим внезапным обращением:

Далекий, вожденный брег!
Туда б, сказав "прости" ущелью,
Подняться к горной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!³

Именно одно это мог бы сказать русский человек, в то время как и француз, и англичанин, и немец пустились бы на подробный отчет ощущений. Никто из наших поэтов не был еще так скуп на слова и выраженья, как Пушкин, так не смотрел осторожно за самим собой, чтобы не сказать неумеренного и лишнего, пугаясь приторности того и другого.

Что ж было предметом его поэзии? Все стало ее предметом, и ничто в особенности. Немеет мысль перед бесчисленностью его предметов. Чем он не поразился и перед чем он не остановился? От заоблачного Кавказа и картинного черкеса до бедной северной деревушки с балалайкой и трепаком у кабака⁴ — везде, всюду: на модном бале, в избе, в степи, в дорожной кибитке⁵ — все становится его предметом. На всё, что ни есть во внутреннем человеке, начиная от его высокой и великой черты до малейшего вздоха его слабости и ничтожной приметы, его смутившей, он откликнулся так же, как откликнулся на все, что ни есть в природе видимой и внешней. Все становится у него отдельной картиной; всё предметы его; изо всего, как ничтожного так и великого, он исторгает одну электрическую искру того поэтического огня, который присутствует во всяком творенье Бога, — его высшую сторону, знакомую только поэту, не делая из нее никакого примененья к жизни в потребность человеку, не обнаруживая никому, зачем исторгнута эта искра, не подставляя к ней лестницы ни для кого из тех, которые глухи к поэзии. Ему ни до кого не было дела. Он заботился только о том, чтобы сказать одним одаренным поэтическим чутьем: "Смотрите, как прекрасно творение Бога!" — и, не прибавляя ничего больше, перелетать к другому предмету затем, чтобы сказать также: "Смотрите, как прекрасно Божие творение!" От этого сочинения его представляют явление изумительное противуречием тех впечатлений, какие они порождают в читателях. В глазах людей весьма умных, но не имеющих поэтического чутья, они — отрывки недосказанные, легкие, мгновенные; в глазах людей, одаренных поэтическим чутьем, они — полные поэмы обдуманые, оконченные, всё заключающие в себе, что им нужно.

На Пушкине оборвались все вопросы, которые дотоле не задавались никому из наших поэтов и в которых виден дух просыпающегося времени. Зачем, к чему была его поэзия? Какое новое направленье мысленному миру дал Пушкин? Что сказал он нужное своему веку? Подействовал ли на него если не

спасительно, то разрушительно? Произвел ли влиянье на других хотя личностью собственного характера, гениальными заблуждениями, как Байрон и как даже многие второстепенные и низшие поэты? Зачем он дан был миру и что доказал собою? Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше, — что такое поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельств и не под условием также собственного, личного характера, как человека, но в независимости от всего; чтобы если захочет потом какой-нибудь высший анатомик душевный разъять и объяснить себе, что такое в существе своем поэт, это чуткое создание, на все откликающееся в мире и себе одному не имеющее отклика⁶, то чтобы он удовлетворен был, увидев это в Пушкине. Одному Пушкину определено было показать в себе это независимое существо, это звонкое эхо, откликающееся на всякий отдельный звук, порождаемый в воздухе. При мысли о всяком поэте представляется больше или меньше личность его самого. Кому при помышленье о Шиллере не предстанет вдруг эта светлая, младенческая душа, грезившая о лучших и совершеннейших идеалах, создававшая из них себе мир и довольная тем, что могла жить в этом поэтическом мире? Кому, читающему Байрона, не предстанет сам Байрон, этот гордый человек, облагодетельствованный всеми дарами Неба и не могший простить ему своего незначительного телесного недостатка, от которого ропот перенесся и в поэзию его?

Сам Гете, этот Протей из поэтов, стремившийся обнять все как в мире природы, так и в мире наук, показал уже сим самым наукообразным стремленьем своим личность свою, исполненную какой-то германской чинности и теоретически-немецкого притязанья подладиться ко всем временам и векам. Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом? Поди улови его характер как человека! Наместо его предстанет тот же чудный образ, на всё откликающийся и одному себе только не находящий отклика. Все сочинения его — полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву с ним не вышел. Зачем не вышел? — это другой вопрос. Он сам на него отвечает стихами:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.⁷

Пушкин слышал значенье свое лучше тех, которые задавали ему запросы, и с любовью исполнял его. Даже и в те поры, когда метался он сам в чадуге страстей, поэзия была для него святыня — точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда необдуманного,

опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность. А между тем всё там до единого есть история его самого. Но это ни для кого не зримо. Читатель услышал одно только благоуханье; но какие вещества перегорели в груди, поэта затем, чтобы издать это благоуханье, того никто не может услышать. И как он лелеял их в себе! как вынашивал их! Ни один итальянский поэт не отделявал так сонетов своих, как обрабатывал он эти легкие, по-видимому мгновенные создания. Какая точность во всяком слове! Какая значительность всякого выраженья! Как все округлено, окончено и замкнуто! Все они точно перлы; трудно и решить, которое лучше. Словно сверкающие зубы красавицы, которые уподобляет царь Соломон овцаянницам, только что вышедшим из купели, когда они все как одна и все равно прекрасны.⁸

Как ему говорить было о чем-нибудь, потребном современному обществу в его современную минуту, когда хотелось откликнуться на всё, что ни есть в мире, и когда всякий предмет равно звал его? Он хотел было изобразить в "Онегине" современного человека и разрешить какую-то современную задачу — и не мог. Столкнувшись с места своих героев, сам стал на их месте и, в лице их, поражен тем, чем поражается поэт. Поэма вышла собрание разрозненных ощущений, нежных элегий, колких эпиграмм, картинных идиллий, и, по прочтении ее, наместо всего выступает тот же чудный образ на всё откликнувшегося поэта. Его совершеннейшие произведения: "Борис Годунов" и "Полтава" — тот же верный отклик минувшему. Ничего не хотел он ими сказать своему времени; никакой пользы соотечественникам не замыслил он выбором этих двух сюжетов; не видно также, чтобы он исполнился особенного участия к кому-нибудь из выведенных здесь героев и предпринял бы из-за этого эти две поэмы, так мастерски и художественно отработанные. Он изумился только необычности двух исторических событий и хотел, чтобы, подобно ему, изумились другие.

Чтение поэтов всех народов и веков порождало в нем тот же отклик. Герой испанский Дон-Жуан, этот неистощимый предмет бесчисленного множества драматических поэм, дал ему вдруг идею сосредоточить все дело в небольшой собственной драматической картине, где еще с большим познанием души выставлен неотразимый соблазн развратителя, еще ярче слабость женщины и еще слышней сама Испания. Гетев Фауст навел его вдруг на идею сжать в двух-трех страничках главную мысль германского поэта, — и дивишься, как она метко понята и как сосредоточена в одно крепкое ядро, несмотря на всю ее неопределенную разбросанность у Гете. Суровые терцины Данта внушили ему мысль в таких же терцинах и в духе самого Данта изобразить поэтическое младенчество свое в Царском Селе, олицетворить науку в виде строгой жены, собирающей в школу детей, и себя — в виде школьника, вырвавшегося из класса в сад затем, чтобы остановиться перед древними статуями с лирами и

циркулями в руках, говорившими ему живой науки, где видно, как уже рано пробуждалась в нем эта чуткость на всё откликаться.⁹

И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к мужику в избу — он русский весь с головы до ног: все черты нашей природы в нем отозвались, и все окинуто иногда одним словом, одним чутко найденным и метко прибранным прилагательным именем.

Свойство это в нем разрасталось постепенно, и он откликнулся бы потом целиком на всю русскую жизнь, так же как откликался на всякую отдельную ее черту. Мысль о романе, который бы поведал простую, безыскусственную повесть прямо русской жизни, занимала его в последнее время неотступно. Он бросил стихи единственно затем, чтобы не увлечься ничем по сторонам и быть проще в описаньях, и самую прозу упростил он до того, что даже не нашли никакого достоинства в первых повестях его. Пушкин был этому рад и написал "Капитанскую дочь", решительно лучшее русское произведение в повествовательном роде. Сравнительно с "Капитанской дочкой" все наши романы и повести кажутся приторной размазней. Чистота и безыскусственность вошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурной. В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственною пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей — всё не только самая правда, но еще как бы лучше ее. Так оно и быть должно: на то и призванье поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же возратить нам в очищенном и лучшем виде. Все показывало в Пушкине, что он на то был рожден и к тому стремился. Почти в одно время с "Капитанской дочкой" оставил он мастерские пробы романов: "Рукопись села Горохина", "Царский арап"¹⁰ и сделанный карандашом набросок большого романа — "Дубровский". В последнее время набрался он много русской жизни и говорил обо всем так метко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило его лучших стихов; но еще замечательней было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизни. Отголоски этого слышны в изданном уже по смерти его стихотворенье, в котором звуками почти апокалипсическими изображен побег из города, обреченного гибели, и часть его собственного душевного состояния¹¹. Много готовилось России добра в этом человеке... Но, становясь мужем, забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться с большими делами, не подумал он о том, как управиться с ничтожными и малыми. Внезапная смерть унесла его вдруг от нас — и все в государстве услышало вдруг, что лишилось великого человека.

Влияние Пушкина как поэта на общество было ничтожно. Общество взглянуло на него только в начале его поэтического поприща, когда он первыми

молодыми стихами своими напомнил было лиру Байрона; когда же пришел он в себя и стал наконец не Байрон, а Пушкин, общество от него отвернулось. Но влияние его было сильно на поэтов. Не сделал того Карамзин в прозе, что он в стихах. Подражатели Карамзина послужили жалкой карикатурой на него самого и довели как слог, так и мысли до сахарной приторности. Что же касается до Пушкина, то он был для всех поэтов, ему современных, точно сброшенный с Неба поэтический огонь, от которого, как свечи, зажглись другие самоцветные поэты.

<...> Наши комики двинулись общественной причиной, а не собственной, восстали не противу одного лица, но против целого множества злоупотреблений, против уклоненья всего общества от прямой дороги. Общество сделали они как бы собственным своим телом; огнем негодованья лирического зажглась беспощадная сила их насмешки. Это — продолжение той же брани света со тьмой, внесенной в Россию Петром, которая всякого благородного русского делает уже невольным ратником света. Обе комедии наши¹² — ничуть не созданы художественные и не принадлежат фантазии сочинителя. Нужно было много накопиться сору и дрязгу внутри земли нашей, чтобы явились они почти сами собой в виде какого-то грозного очищения. Вот почему по следам их не появлялось в нашей литературе ничего им подобного невероятно, долго не появится. Со смертью Пушкина остановилось движение поэзии нашей вперед. Это, однако же, не значит, чтобы дух ее угаснул; напротив, он, как гроза, невидимо накапливается вдали; самая сухость и духота в воздухе возвещают его приближение. Уже явились и теперь люди не без талантов. Но еще все находится под сильным влиянием гармонических звуков Пушкина; еще никто не может вырваться из этого заколдованного, им очертанного круга и показать собственные силы. <...>

Но пора, однако же, сказать в заключение, что такое наша поэзия вообще, зачем она была, к чему служила и что сделала для всей русской земли нашей. Имела ли она влияние на дух современного ей общества, воспитавши и облагородивши каждого, сообразно его месту, и возвысивши понятия всех вообще, сообразно духу земли и коренным силам народа, которым должно двигаться государство? Или же она была просто верной картиной нашего общества — картиной полной и подробной, ясным зеркалом всего нашего быта? Не была она ни тем, ни другим; ни того, ни другого она не сделала. Она была почти незнаема и неведома нашим обществом, которое в то время воспитывалось другим воспитанием — под влиянием гувернеров французских, немецких, английских, под влиянием выходцев из всех стран, всех возможных сословий, с различными образами мыслей, правил и направлений. Общество наше, — чего не случалось еще доселе ни с одним народом, — воспитывалось в неведении земли своей посреди самой земли своей. Даже язык был позабыт, так что поэзии нашей были даже отрезаны дороги и пути к тому, чтобы коснуться его уха. Если и пробивалась она к обществу, то какими-то незаконными и

проселочными дорогами: или счастливо написанная музыка заносила в гостиную какое-нибудь стихотворное произведение; или же плод незрелой молодости поэта, ничтожное и слабое его произведение, но отвечавшее каким-нибудь чужеземно-вольнодумным мыслям, занесенным в голову общества чужеземными воспитателями, бывало причиной, что общество узнавало о существовании среди его поэта. Словом — поэзия наша не поучала общество, не выражала его. Как бы слыша, что ее участь не для современного общества, неслась она все время свыше общества; если ж и опускалась к нему, то разве затем только, чтобы хлестнуть его бичом сатиры, а не передавать его жизнь в образец потомству. Дело странное: предметом нашей поэзии всё же были мы, но мы в ней не узнаем себя. Когда поэт показывает нам наши лучшие стороны, нам это кажется преувеличенным, и мы почти готовы не верить тому, что говорит нам о нас же Державин. Когда же выставляет писатель наши низкие стороны, мы опять не верим, и нам это кажется карикатурой. Есть, точно, в том и другом как бы какая-то преувеличенная сила, хотя в самом деле преувеличения нет. Причиною первого то, что наши лирические поэты, владея тайной прозревать в зерне, почти неприметном для простых глаз, будущий великолепный плод его, выставляли очищенной всякое свойство наше. Причиною второго то, что сатирические наши писатели, нося в душе своей, хотя еще и неясно, идеал уже лучшего русского человека, видели ясней всё дурное и низкое русского действительно человека. Сила негодования благородного давала им силу выставлять ярче ту же вещь, чем как ее может увидеть обыкновенный человек. Вот отчего в последнее время, сильней всех прочих свойств наших, развилась у нас насмешливость. Все смеется у нас одно над другим, и есть уже внутри самой земли нашей что-то смеющееся над всем равно, над стариной и над новизной, и благоговейщее только пред одним нестареющим и вечным. Итак, поэзия наша не выразила нам нигде русского человека вполне, ни в том *идеале*, в каком он должен быть, ни в той *действительности*, в какой он ныне есть. Она собрала только в кучу бесчисленные оттенки разнообразных качеств наших; она сокупила только в одно казнохранилище отдельно взятые стороны нашей разносторонней природы. Поэты наши слышали, что не пришло еще время живописать себя целиком и хвастаться собой, что еще нужно нам самим прежде организоваться, стать собой и сделаться русскими. Еще только размягчена и приготовлена наша природа к тому, чтобы принять ей следуемую форму; еще не успели мы вывести итогов из множества всяких элементов и начал, нанесенных отовсюду в нашу землю, еще во всяком из нас бестолковая встреча чужеземного с своим, а не разумное извлечение того самого вывода, для которого поведена Богом эта встреча. Слыша это, они как бы заботились только о том, чтобы не пропало в этой борьбе лучшее из нашей природы. Это лучшее забирали они отовсюду, где находили, и спешили его выносить на свет, не заботясь о том, где и как его поставить. Так бедный хозяин из обхваченного пламенем дома старается выхватить только то, что есть в нем

драгоценнейшего, не заботясь о прочем. Поэзия наша звучала не для современного ей времени, но чтобы, — если настанет наконец то благодатное время, когда мысль о внутреннем построении человека в таком образе, в каком повелел ему встроиться Бог из самородных начал земли своей, сделается наконец у нас общею по всей России и равно желанною всем, — то чтобы увидели мы, что есть действительно в нас лучшего, собственно нашего, и не позабыли бы его вместить в свое построение. Наши собственные сокровища станут нам открываться больше и больше по мере того, как мы станем внимательней вчитываться в наших поэтов. По мере большего и лучшего их узнанья нам откроются и другие их высшие стороны, доселе почти никем не замечаемые: увидим, что они были не одними казначеями сокровищ наших, но отчасти даже и строителями нашими, или действительно имея о том мысль, или ее не имея, но показавши своей высшей от нас природой которое-нибудь из наших народных качеств, которое в них развилось видней затем именно, чтобы блеснуть пред нами во всей красе своей. Это стремление Державина начертать образ непреклонного, твердого мужа в каком-то библейско-исполинском величии не было стремленьем произвольным: начала ему он услышал в нашем народе. Широкие черты человека величавого носят и слышатся по всей русской земле так сильно, что даже чужеземцы, заглянувшие вовнутрь России, ими поражаются еще прежде, чем успевают узнать нравы и обычаи земли нашей. Еще недавно один из них, издавший свои записки с тем именно, чтобы показать Европе с дурной стороны Россию^{*13}, не мог скрыть изумленья своего при виде простых обитателей деревенских изб наших. Как пораженный, останавливался он перед нашими маститыми беловласыми старцами, сидящими у порогов изб своих, которые казались ему величавыми патриархами древних библейских времен. Не один раз сознался он, что нигде в других землях Европы, где ни путешествовал он, не представлялся ему образ человека в таком величии, близком к патриархально-библейскому. И эту мысль повторил он несколько раз на страницах своей растворенной ненавистью к нам книги. Это свойство *чуткости*, которое в такой высокой степени обнаружилось в Пушкине, есть наше народное свойство. Вспомним только одни названья, которыми народ сам характеризует в себе это свойство, например: названье уха, которое дается такому человеку, в котором все жилки горят и говорят, который миг не постоит без дела; *удача* — всюду спеющий и везде успевающий; и множество есть у нас других названий, определяющих различные оттенки и отклонения этого свойства. Свойство это велико: не полон и суров выйдет русский муж, начертанный Державиным, если не будет в нем чутья откликаться живо на всякий предмет в природе, изумляясь на всяком шагу красоте Божьего творенья. Этот ум, умеющий найти законную середину всякой вещи, который обнаружился в Крылове, есть наш *истинно русский ум*. Только в Крылове отразился тот верный такт русского ума, который, умея выразить истинное

* Маркиз Кюстин. — Примеч. Н. В. Гоголя.

существо всякого дела, умеет выразить его так, что никого не оскорбит выраженьем и не восстанovit ни против себя, ни против мысли своей даже несходных с ним людей, — одним словом, тот верный такт, который мы потеряли среди нашего светского образования и который сохранился доселе у нашего крестьянина. Крестьянин наш умеет говорить со всеми себя высшими, даже с царем, так свободно, как никто из нас, и ни одним словом не покажет неприличия, тогда как мы часто не умеем поговорить даже с равным себе таким образом, чтобы не оскорбить его каким-нибудь выраженьем. Зато уже в ком из нас действительно образовался этот сосредоточенный, верный, истинно русский такт ума — он у нас пользуется уваженьем всех; ему все позволят сказать то, чего никому другому не позволят; на него никто уж и не сердится. У всех наших писателей бывали враги, даже у самых незлобнейших и прекраснейших душою (стоит вспомнить Карамзина и Жуковского); но у Крылова не было ни одного врага. Эта *молодая удаль* и отвага рвануться на дело добра, которая так и буйствует в стихах Языкова, есть удаль нашего русского народа, то чудное свойство, ему одному свойственное, которое дает у нас вдруг молодость и старцу и юноше, если только предстанет случай рвануться всем на дело, невозможное ни для какого другого народа, — которое вдруг сливает у нас всю разнородную массу, между собой враждующую, в одно чувство, так что и ссоры, и личные выгоды каждого — все позабыто, и вся Россия — один человек. Все эти свойства, обнаруженные нашими поэтами, есть наши народные свойства, в них только видней развившиеся: поэты берутся не откуда же нибудь из-за моря, но исходят из своего народа. Это — огни, из него же излетевшие, передовые вестники сил его. Сверх того поэты наши сделали добро уже тем, что разнесли благозвучие, дотоле небывалое. Не знаю, в какой другой литературе показали стихотворцы такое бесконечное разнообразие оттенков звука, чему отчасти, разумеется, способствовал сам поэтический язык наш. У каждого свой стих и свой особенный звон. Этот металлический бронзовый стих Державина, которого до сих пор не может еще позабыть наше ухо; этот густой, как смола или струя столетнего тока, стих Пушкина; это сияющий, праздничный стих Языкова, влетающий, как луч, в душу, весь сотканный из света; этот облитый ароматами полудня стих Батюшкова, сладостный, как мед из горного ущелья; этот легкий воздушный стих Жуковского, порхающий, как неясный звук эоловой арфы; этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского, проникнутый подчас едкой, щемящей русской грустью, — все они, точно разнозвонные колокола или бесчисленные клавиши одного великолепного органа, разнесли благозвучие по русской земле. Благозвучие не так пустое дело, как думают те, которые незнакомы с поэзией. Под благозвучие, как под колыбельную, прекрасную песню матери, убаюкивается народ-младенец еще прежде, чем может входить в значение слов самой песни, и нечувствительно сами собою стихают и умиряются его дикие страсти. Оно так же бывает нужно, как во храме куренье кадильное, которое уже невидимо настраивает душу к

слышанью чего-то лучшего еще прежде, чем началось самое служение. Поэзия наша пробовала все аккорды, воспитывалась литературами всех народов, прислушивалась к лирам всех поэтов, добывала какой-то всемирный язык затем, чтобы приготовить всех к служению более значительному. Нельзя уже теперь заговорить о тех пустяках, о которых еще продолжает ветрено лепетать молодое, не давшее себе отчета, нынешнее поколение поэтов; нельзя служить и самому искусству, — как ни прекрасно это служение, — не уразумев его цели высшей и не определив себе, зачем дано нам искусство; нельзя повторять Пушкина. Нет, не Пушкин и никто другой должен стать теперь в образец нам: другие уже времена пришли. Теперь уже ничем не возьмешь — ни своеобразьем ума своего, ни картинной личностью характера, ни гордостью движений своих, христианским, высшим воспитаньем должен воспитаться теперь поэт. Другие дела наступают для поэзии. Как во время младенчества народов служила она к тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая в них браннолюбивый дух, так придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву человека — на битву уже не за временную нашу свободу, права и привилегии наши, но за нашу душу, которую Сам небесный Творец наш считает перлом Своих созданий. Много предстоит теперь для поэзии — возвращать в общество того, что есть истинно прекрасного и что изгнано из него нынешней бессмысленной жизнью. Нет, не напомним они уже никого из наших прежних поэтов. Самая речь их будет другая; она будет ближе и родственней нашей русской душе. Еще в ней слышней выступят наши народные начала. Еще не бьет всей силой кверху тот самородный ключ нашей поэзии, который уже кипел и бил в груди нашей природы тогда, как и самое слово поэзия не было ни на чьих устах. Еще никто не черпал из самой глубины тех трех источников, о которых упомянуто в начале этой статьи. Еще доселе загадка — этот необъяснимый разгул, который слышится в наших песнях, несется куды-то мимо жизни и самой песни, как бы сгораемый желаньем лучшей отчизны, по которой тоскует со дня создания своего человек. Еще ни в ком не отразилась вполне та многосторонняя поэтическая полнота ума нашего, которая заключена в наших многоочитых пословицах, умевших сделать такие великие выводы из бедного, ничтожного своего времени, где в таких тесных пределах и в такой мутной луже изворачивался русский человек, и которые говорят только о том, какие огромные выводы может сделать нынешний русский человек из нынешнего широкого времени, в которое нанесены итоги всех веков и, как неразобранный товар, сброшены в одну беспорядочную кучу. Еще тайна для многих этот необыкновенный лиризм — рожденье верховной трезвости ума, — который исходит от наших церковных песней и канонов и покуда так же безотчетно возносит дух поэта, как безотчетно подмывают его сердце родные звуки нашей песни. Наконец, сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая,

с одной стороны, высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны — выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность, таким образом, в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанию непонятливейшего человека, — язык, который сам по себе уже поэт и который недаром был на время позабыт нашим лучшим обществом: нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземных наречьях всю дрянь, какая ни пристала к нам вместе с чужеземным образованием, чтобы все те неясные звуки, неточные названья вещей — дети мыслей невыяснившихся и сбивчивых, которые потемняют языки, — не посмели бы помрачить младенческой ясности нашего языка и возвратились бы мы к нему уже готовые мыслить и жить своим умом, а не чужеземным. Все это еще орудия, еще материалы, еще глыбы, еще в руде дорогие металлы, из которых выкуется иная, сильнейшая речь. Пройдет эта речь уже насквозь всю душу и не упадет на бесплодную землю. Скорбью ангела загорится наша поэзия и, ударивши по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, внесет в самые огрубелые души святыню того, чего никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке; вызовет нам нашу Россию — нашу русскую Россию: не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам из-за моря очужеземившиеся русские, но ту, которую извлечет она из нас же и покажет таким образом, что все до единого, каких бы ни были они различных мыслей, образов воспитанья и мнений, скажут в один голос: "Это наша Россия; нам в ней уютно и тепло, и мы теперь действительно у себя дома, под своей родной крышей, а не на чужбине".

Примечания:

¹ Род Державиных вел свое происхождение от татарского мурзы Багрима. Державин иногда шутливо намекает на это в своих стихах, именуя себя «мурзой», а свои стихи — «татарскими песнями».

² Подразумеваемые Гоголем слова «Блажен, кто знает сладострастье / Высоких мыслей и стихов!» в действительности принадлежат не Батюшкову, а Пушкину (послание «Жуковскому», 1818).

³ Из стихотворения «Монастырь на Казбеке» (1829).

⁴ Ср. «Отрывки из путешествия Онегина»: «Теперь мила мне балалайка / Да пьяный топот трепака / Перед порогом кабака...»

⁵ Реминисценция из стихотворения «Калмычке» (1829).

⁶ Парафраз заключительных строк стихотворения «Эхо» (1831).

⁷ Из стихотворения «Поэт и толпа» (1828).

⁸ Книга Песни Песней Соломона, 4: 2.

⁹ Имеются в виду «Каменный гость» (1830), «Сцена из Фауста» (1825), стихотворение «В начале жизни школу помню я...» (1830).

¹⁰ Имеются в виду «История села Горюхина» (впервые опубл. после смерти Пушкина под названием «Летопись села Горохина» — «Современник», 1837, т. 7) и «Арап Петра Великого» (также опубл. посмертно). Гоголь, как многие в то время, смешивает слова «арап» и «араб»; ср. сетования Пушкина на этот счет в письме к Вяземскому от 1835–1836 г. (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. ... Т. XVI. С. 208).

¹¹ Подразумевается стихотворение «Странник» (1835; опубл. 1841).

¹² То есть «Недоросль» Фонвизина и «Горе от ума Грибоедова»; их разборы, предложенные Гоголем выше в той же статье, не включены в наст. изд.

¹³ Речь идет о запрещенной в России книге французского литератора Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году» (Paris, 1843).